

РАБОТА ПРЕРВАНА

Часть первая СМЕРТЬ

I

Когда умер мой отец, я жил в Марокко, в маленькой французской гостинице близ крепостной стены Феса. Я жил там уже полтора месяца, почти непрерывно писал, и до конца книги «Убийство в замке Маунтричард» мне оставалось страниц шестьдесят. Через три недели я отдал бы ее машинистке; может быть, даже раньше, потому что я уже одолел тяжелую среднюю часть, где менее добросовестные писатели выкладывают второй труп. Мне шел тогда тридцать пятый год, и к профессии я относился серьезно. Я всегда обходился одним трупом. Над романами своими я работаю не жалея сил и нахожу их отличными. Каждая из семи моих книг расходилась лучше предыдущей. Причем расходилась в первые же три месяца, по семь с половиной шиллингов. Менять для киосков наклейку на первом, дорогом, издании не пришлось ни разу. Люди покупали мои книги и держали не в спальне для гостей, а в библиотеке — все семь томов рядышком на полке. Через полтора месяца, когда рукопись будет перепечатана, вычитана и сдана, я получу чек на девятьсот с лишним фунтов. При желании я мог бы зарабатывать значительно больше. Я не продавал мои романы журналам: нежные волокна повествования

рвутся, когда его шинкуют для еженедельника или ежемесячника, и полностью уже не срastaются. Читая произведения соперников, я часто говорил: «Она писала с расчетом на журнал. Этот эпизод ей пришлось скомкать; тут пришлось приправить чужеродной мелодрамой, чтобы каждый выпуск читался сам по себе. Что ж, — размышлял я, — ей надо кормить мужа и двух сыновей-школьников. Преуспеть и тут и там — быть хорошей матерью и хорошей романисткой — ей вряд ли удастся». Я предпочитал жить скромно, только на гонорары от книг.

Экономия меня вовсе не стесняла; напротив, доставляла удовольствие. Приятели, я знаю, считали меня скрягой; любили пройтись на этот счет, что меня отнюдь не обижало. Я стремился искоренить, насколько это возможно, деньги из моей жизни. Лишним имуществом не обзаводился. Мне удобнее было платить проценты по ссуде своему банку, чем получать счета от надоедливых торговцев. Я решал, что я хочу делать, а затем придумывал, как сделать это дешево и аккуратно; лишние траты требуют лишних заработков. Расточительность мне не по душе.

Профессию я избрал сознательно, в возрасте двадцати одного года. У меня от природы изобретательный, конструктивный ум и вкус к письму. Я по-юношески жаждал славы. Мне представлялось, что у писателя есть мало способов зарабатывать на приличную жизнь, не испытывая при этом стыда. Например, изготавливать нечто ходкое и притом не имеющее ни малейшего отношения ко мне самому; поставлять на рынок то, что может подойти людям, которых я люблю и уважаю; к этому я и стремился, и детективные романы этим требованиям удовлетворяли. Детектив — искусство, признающее классические каноны техни-

ки и вкуса. К тому же оно ограждено от гнусных замечаний, угрожающих писателям более легких жанров: «Какое наслаждение должна доставлять вам работа над вашими восхитительными книгами, мистер Такой-то». Моего приятеля и однокашника по университету Роджера Симмондса, который стал профессиональным юмористом примерно в то же время, когда я написал «Возмездие в Ватикане», постоянно донимали такими замечаниями. Мне, напротив, читательницы говорили: «До чего же, должно быть, трудно, мистер Планта, держать в голове все эти запутанные разгадки». Я соглашался: «Да-да, безумно трудно». — «А пишете вы здесь, в Лондоне?» — «Нет — как выяснилось, для работы мне надо уезжать из города». — «От телефонных звонков, приглашений и тому подобного?» — «Совершенно верно».

Я перепробовал десяток, если не больше, убежищ в Англии и за границей — деревенские гостиницы, меблированные коттеджи, приморские отели в мертвый сезон, — и Фес был, безусловно, самым лучшим. Это чудесный, компактный городок, а в начале марта, когда холмы вокруг и неопрятные внутренние дворики арабских домов сплошь покрыты цветами, — один из самых красивых в мире. Мне нравилась моя маленькая гостиница. Она была дешевая и довольно холодная — аскетизм, совершенно необходимый. Пицца — съедобная и, опять-таки, скудноватая, что меня устраивает. Место мое было промежуточное — между полуегипетскими излишествами туристского дворца на холме и сутолокой торговых гостиниц нового города, в получасе ходьбы. Постояльцы были сплошь французы: жены чиновников и пожилые супружеские пары скромного достатка, зимующие под южным солнцем. Вечером в бар приходили офицеры туземной ка-

валерии поиграть на бильярде. Работал я у себя на балконе, с видом на овраг, где сенегальские стрелки непрерывно стирали свое белье. Развлечения у меня были просты и немногочисленны. Раз в неделю после обеда я ехал на автобусе в Мулай-Абдуллу, раз в неделю обедал в консульстве. Консул позволил мне принимать у него ванну. В сумерках я шел к нему под крепостными стенами, размахивая сумкой с банными принадлежностями. Он, его жена и их гувернантка были единственными англичанами, с которыми мои отношения заходили дальше простого обмена приветствиями. Иногда я посещал местный кинотеатр, где в гаме и свисте крутили старые немые фильмы. В другие вечера принимал порцию легкого снотворного и в половине десятого засыпал. В таких условиях работа двигалась хорошо. Позже я, случалось, вспоминал о них с завистью.

Как странный пережиток века капитуляций¹ в консульстве еще сохранялось британское почтовое отделение, служившее, по мнению французов, в основном предательским козням недовольных арабов. Когда на мое имя приходило письмо, почтальон спускался на велосипеде с холма к моей гостинице. У него была кокарда на фуражке и нашивка с королевским гербом на рукаве; каждый раз он четко, по-военному брал под козырек, что придавало мне веса в гостинице, но подрывало мою репутацию смирного, не состоящего на службе литератора. Этот почтальон и доставил мне письмо дяди Эндрю с известием о смерти моего отца, его брата.

Отец, как выяснилось, неделю с лишним назад попал под машину и умер, не приходя в сознание. Я был

¹ *Капитуляции* — неравноправные договоры, которые навязывали в XVIII–XIX веках капиталистические страны странам Востока.

его единственным ребенком и, если не считать дяди, единственным близким родственником. «Все надлежащие шаги» были предприняты. Похороны происходили сегодня. «Несмотря на взгляды твоего отца и за неимением определенных указаний в отрицательном смысле, — писал дядя Эндрю, — твоя тетя и я сочли за благо отслужить религиозную службу скромного характера».

«Мог бы дать телеграмму», — подумал я; а потом, чуть позже: «Зачем, собственно?» В живых я отца все равно бы не застал; участвовать в «религиозной службе скромного характера» было не в моем вкусе и не в отцовском, впрочем, надо отдать ему справедливость, — и не в дядином. Устроили ее ради четы Джеллаби.

В отношении Джеллаби отец проповедовал крайнюю суровость, которой на деле не проявлял, — наоборот, чтобы убогатворить их, он подвергал себя значительным неудобствам; однако в принципе сама мысль о том, что с ними надо быть вежливым и внимательным, вызывала у него омерзение. Отец был убежден, что, кроме него, никто не умеет обращаться со слугами. Два противоположных течения одинаково приводили его в ярость: то, что он называл «шутовскими *pas devant*'ами»¹, времен своего детства, — правило, что при слугах нельзя скандалить и называть конкретные суммы денег, — и более новомодная идея, что жилье их должно быть красиво убрано, а самим им предоставлена возможность культурно развиваться. «Джеллаби прожил со мной двадцать лет, — говорил он, — и имеет полное представление о реальной жизни. И ему, и миссис Джеллаби мой доход известен до последнего шиллинга, досконально известны и биографии всех,

¹ *Pas devant* — не при (слугах) (фр.).

кто у меня бывает. Плачу я им безобразно, и они по-полняют свое жалованье, фокусничая с расходной книгой. Слугам так больше нравится. Так они охраняют свою независимость и самоуважение. Джеллаби едят беспрерывно, спят с закрытыми окнами, каждое воскресенье идут утром в церковь, а вечером в часовню и всякий раз, когда я отлучаюсь из дому, тайком принимают гостей за мой счет. Джеллаби — трезвенник; миссис Джеллаби пьет портвейн». Если ему что-нибудь было нужно, он звонил в колокольчик не раздумывая, а за вином сидел сколько заблагорассудится. «Бедный старик Армстронг, — говорил он о своем коллеге-академике, — живет как готтентот. Держит целую стаю крикливых женщин, вроде официанток в вокзальном буфете. После первой рюмки портвейна они открывают дверь столовой и просовывают головы. После второй рюмки делают то же самое. Тогда, вместо того чтобы чем-нибудь бросить в них, Армстронг говорит: „Мне кажется, они хотят убрать“, — и мы вынуждены подниматься из-за стола».

Но отец был душевно привязан к Джеллаби; он, по-моему, и в академию позволил себя избрать главным образом ради миссис Джеллаби. Они, в свою очередь, служили ему верно. Лишить их заупокойной службы было бы предательством, и я не сомневаюсь, что именно их имел в виду отец, не запретив службу в своем завещании. Человеком он был пунктуальным и ни за что не забыл бы такой подробности. С другой стороны, он был несгибаемым атеистом старой закалки и не желал писать в завещании то, что можно было бы истолковать как отступничество. Он положился на такт дяди Эндрю. Дядин же такт, без сомнения, избавил меня от тягостной необходимости присутствовать на похоронах.

II

Я сидел на балконе, курил и рассматривал положение с разных сторон. Веских причин менять свои планы не было. Дядя Эндрю обо всем позаботится. Джеллаби будут обеспечены. Ни перед кем, кроме них, у отца обязательств не было. Денежные его дела всегда были просты и в полном порядке. Корешки чеков и отличная память заменяли ему бухгалтерскую книгу; капиталы он никуда не помещал, если не считать дома в Сент-Джонс-Вуде, купленного на те небольшие деньги, которые ему оставила мать. Свои доходы он проживал и ничего не откладывал. Скупость, которую я унаследовал от отца, у него облекалась в чисто галльское отвращение к уплате прямых налогов или, как он сам предпочитал объяснять, к «пожертвованиям в пользу политиков». Кроме того, он был убежден, что радикалы все равно прикарманили бы его сбережения. Последним поразившим его событием современности был приход к власти Ллойд-Джорджа. С тех пор он был убежден — по крайней мере, заявлял об этом, — что общественная жизнь превратилась в открытый заговор, направленный на уничтожение его самого и его класса. Себя отец считал последним живым представителем этого класса и был ему романтически предан; говорил о нем словно о каком-нибудь якобитском клане, запрещенном и рассеянном после Каллодена¹, чем иногда смущал людей, которые плохо знали его. «Нас выкорчевали и затравили, — говорил он. — Теперь в Англии осталось только три класса: политики, торговцы и рабы». Затем развивал свою

¹ *Каллоден* — селение в Северной Шотландии, возле которого 16 апреля 1746 года произошло сражение между якобитами и правительственными британскими войсками. Якобиты потерпели в нем поражение.

мысль: «Семьдесят лет назад политики и торговцы действовали заодно; они уничтожали дворянство, обесценивая землю; некоторые дворяне сами ударились в политику, другие — в торговлю; из остатков составилась новый класс, к которому я принадлежу по рождению, — безденежное, безземельное образованное дворянство, управлявшее их страной. Мой дед был каноником в Оксфорде, отец состоял на бенгальской государственной службе. Их наследники не получали ничего, кроме образования и нравственных принципов. Теперь политики заодно с рабами стараются известить торговцев. О нас хлопотать им не надо. Мы уже вымерли. Я — птеродактиль, — говаривал он, с вызовом глядя на слушателей. — Ты, мой бедный сын, — доисторическое яйцо». В этой позе и с этими словами его изобразил на карикатуре Макс Бирбом.

Профессия, выбранная мною, утвердила его в этом мнении. «Сын Марджори Стейл работает под землей, в подвале, — за четыре фунта в неделю торгует галантереей. Дик Андерсон выдал дочь за бакалейщика. Мой сын Джон получил в Оксфорде степень с отличием первого класса. Для прокорма сочиняет детективчики», — говорил он.

Я всегда посылал ему мои романы и думаю, он их читал. «Ты хотя бы пишешь грамотно, — однажды сказал он. — Твои книжки можно перевести, чего не скажешь о большинстве господ, которые засели писать Литературу». У него был иерархический склад ума, и в его классификации детективные романы стояли чуть выше оперных либретто и много ниже политической публицистики. Однажды я показал ему отзыв профессора поэзии на «Смерть под Ноттингемом», где говорилось, что это «произведение искусства». «Оксфордского преподавателя купить может каждый», — кратко заметил он.

Однако мое процветание его радовало. «Родственная любовь и финансовая зависимость плохо сочетаются, — говорил он. — Первые три года, что я жил в Лондоне, отец выплачивал мне содержание, полтора фунта в неделю, и он никогда не мог мне этого простить — никогда. После того как он получил степень, он не стоил своему отцу ни пенни. Точно так же, как в свое время — его отец. Ты студентом влез в долги. Со мной такого никогда не случалось. Ты только через два года встал на ноги, а все два года ходил франтом — я себе этого не позволял. Впрочем, ты молодец. Не валял дурака с Литературой. Ты нашел хорошую жилу. На днях я видел в клубе старика Этериджа. Он сказал, что читает все твои романы и они ему нравятся. Бедный старик Этеридж; выучил сына на адвоката и до сих пор вынужден содержать его, а мальчику — тридцать семь».

Говоря о своих сверстниках, отец редко обходился без эпитета «старик» — обычно: «бедный старик Такой-то», если такой-то не слишком преуспевал, то есть не был «старым прохвостом». С другой стороны, людей несколькими годами младше себя он называл «молокососами» и «глупыми щенками». В сущности же, ему просто претила мысль, что кто-то может быть его одногодком. Это нарушило бы отчужденность, о которой он пекся больше всего на свете. Ему достаточно было узнать, что его мнение пользуется широкой поддержкой, чтобы усомниться в этом мнении и отказаться от него. Атеизм его был ответом на простодушное благочестие и нерешительный агностицизм его семейного круга. Он мало что слышал о марксизме; иначе наверняка сумел бы обнаружить несколько доказательств бытия Божия. В последние годы я наблюдал у него два переворота во взглядах наперекор господствующим веяниям. Во времена моего детства,

при Эдуарде, когда евреи были в чести, он осуждал их безоговорочно и по любому поводу, а позже объявил, что с них пошло поветрие на постимпрессионистскую живопись: «Жил себе бедный олух по фамилии Сезанн, можно сказать — деревенский дурачок, которому дали коробку с красками, чтобы не приста- вал. Он оставлял свои кошмарные картины в кустах — и правильно делал. Но его нашли евреи; они крались за ним и подбирали его холсты, чтобы поживиться на дармовщину. Потом, когда он благополучно умер и уже не мог потребовать свою долю, они подрядили наемных психопатов восхвалять его в печати. Они зарабо- тали на нем тысячи». Он до самого конца утверждал, что Дрейфус — изменник, но в начале тридцатых го- дов, когда антисемитизм стал заметно набирать силу, он поддерживал евреев многочисленными письмами в «Таймс», которых, правда, не публиковали.

Точно так же он в свое время с похвалой отзывался о католиках. «Их религиозные взгляды — вздор, — го- ворил он. — Но таковы же были взгляды древних гре- ков. Подумать только, что Сократ половину своего по- следнего вечера болтал о топографии того света. Но, если отвлечься от этих первичных нелепостей, вы най- дете, что католики — люди разумные и у них цивили- зованные привычки». Впоследствии, однако, обнару- жив, что подобный образ мыслей начинает распро- страняться, он пришел к убеждению, что иезуиты тайно стоворились втянуть весь мир в войну, и написал об этом несколько писем в «Таймс»; их тоже не опубли- ковали. Но и в том и в другом случае идеи его почти не сказались на личных отношениях: среди его бли- жайших друзей всю жизнь были и евреи, и католики.

Одевался отец так, как, на его взгляд, полагалось художнику; это характерное и броское облачение сде-

лало его заметной — а с годами и почтенной — фигурой на примыкающих к его дому улицах, где он совершал моцион. В его пончо, клетчатых костюмах, сомбреро и пышных галстуках никакой рисовки не было, скорее, он полагал, что человеку надлежит недвусмысленно заявлять о своем месте в жизни, и презирал тех своих коллег, которые будто старались сойти за вахтеров и биржевых маклеров. В общем, он был расположен к своим коллегам-академикам, хотя об их работах отзывался только презрительно. Он рассматривал академию как клуб; он любил ее обеды и часто посещал школы, где мог излагать свои взгляды на искусство языком доктора Джонсона. Он никогда не сомневался, что живопись должна правдоподобно изображать предметную действительность. Он критиковал своих коллег за такие грехи, как незнание анатомии, «мелкотемье» и «неискренность». За это его называли консерватором — не совсем точно, ибо в своем творчестве он никогда им не был. Он с отвращением относился к художественным нормам времен своей молодости. Судя по всему, он был непреклонно старомодным юношей, потому что воспитывался он при расцвете послеуистлеровской декоративной живописи, а первой его выставочной работой был «Запуск воздушного шара в Манчестере» — громадное полотно, до отказа наполненное драматическим действием, в духе Фриса. Заказывали ему больше всего портреты — часто посмертные — для преподнесения всякого рода колледжам и гильдиям. Женщины ему удавались редко — их он, отчасти намеренно, наделял нелепой величавостью, — зато, имея в распоряжении мантию доктора музыки или рыцаря Мальтийского ордена, он создавал нечто достойное самых роскошных стенных панелей в стране; имея в распо-

ряжении бакенбарды, он был маэстро. «В молодые годы я специализировался на волосах, — говорил он примерно так, как сказал бы врач — специалист по носоглотке. — Я пишу их неподражаемо. В наши дни у людей писать нечего», — и как раз этот его талант породил длинную и все меньшим спросом пользовавшуюся серию исторических и библейских групп и мелодраматических жанровых сцен, которыми он известен, — сюжетов, вызывавших легкий смех уже тогда, когда он лежал в колыбели; однако отец продолжал производить их из года в год, между тем как авангардисты появлялись и исчезали, и на склоне дней, сам этого не заметив, он вдруг оказался модным. Пахнуло этим впервые в 1935 году, когда его «Агага перед Самуилом» купили на провинциальной выставке за 750 гиней. Это была большая картина, над которой он работал с перерывами начиная с 1908 года. Даже он сам называл ее, явно скромничая, «своего рода чудоюдо». Последнее, пожалуй, было единственной разновидностью позвоночных, которой не нашлось места в его замысловатой композиции. Когда его спрашивали, зачем он изобразил такое богатство фауны, он отвечал: «Мне осточертел Самуил. Я прожил с ним двадцать лет. Каждый раз, когда его привозят обратно с выставки, я закрасиваю израильянина и вписываю животное. Если проживу достаточно долго, у меня на заднем плане будет Ноев ковчег».

Приобрел это произведение сэр Лайонел Стерн.

— Честный сэр Лайонел, — сказал отец, наблюдая, как громадное полотно отправляют на Кенсингтон-Палас-Гарденс. — Дорого бы я дал, чтобы пожать его волосатую лапу. Прекрасно его себе представляю: славный толстяк с тяжелой золотой цепью на пузе — всю жизнь добросовестно варил мыло или плавил медь

и не успел почитать Клайва Белла. Именно такие люди во все века спасали живопись от смерти.

Я пытался объяснить, что Лайонел Стерн — молодой и элегантный миллионер, который вот уже десять лет считается законодателем эстетических вкусов.

— Чушь! — сказал отец. — Такие собирают вывихнутых папуасок Гогена. Мои работы нравятся только мещанам, и мне, ей-богу, нравятся только мещане.

В творчестве отца была еще одна, не совсем безупречная грань. Он имел подспорье в виде ежегодных гонораров от Благоева и Богли, торговцев с Дьюкстрит, — за то, что он называл «реставрацией». Сумма эта была очень важной частью его дохода: без нее уютные обеды в тесном кругу, поездки за границу, такси от Сент-Джонс-Вуда до «Атенеума» и обратно, верные хищные Джеллаби, орхидея в петлице — все эти существенные удобства и излишества, которые так украшали жизнь и придавали ей барственную легкость, были бы ему недоступны. Суть состояла в том, что, овладев в совершенстве манерой Лели¹, отец мог изрядно писать в манере почти любого из английских мастеров портрета, и в частных и публичных собраниях Нового Света его разносторонняя одаренность была широко представлена. Об этом промысле знали очень немногие из его приятелей; перед ними отец защищал его совершенно искренне. «Благоев и Богли покупают мои картины как таковые — как мои работы. Платят мне не больше, чем того заслуживает мое мастерство. Как они потом ими распорядятся — это их дело. Мне не к лицу бегать по галереям и суетливо доказывать свое авторство, огорчая многих вполне довольных людей. Им гораздо полезнее смотреть на

¹ *Питер Лели* (1618–1680) — английский живописец голландского происхождения, ведущий английский портретист XVII столетия.

прекрасную живопись и наслаждаться ею, пусть даже заблуждаясь относительно даты, чем до потемнения в глазах тарачиться на подлинного Пикассо».

Во многом из-за этих связей с Благоевым и Богли его ателье предназначалось исключительно для работы. Это было отдельное здание с выходом в сад, изъятое из обиходного употребления. Раз в год, когда он собирался за границу, ателье «чистили»; раз в год, в воскресенье накануне подачи картин в Королевскую Академию, оно открывалось для друзей.

Ему доставляла особое удовольствие тоска этих ежегодных чаепитий, и уныние их он поддерживал так же старательно, как оживлял свои остальные приемы. Существовал вид сухого ярко-желтого тминного кекса, который с детских лет я запомнил как «академический кекс», его привозили исключительно к этому собранию из гастронома на Преид-стрит; существовал громадный вустерский чайный сервиз — свадебный подарок, — именовавшийся «академическими чашками»; существовали «академические сандвичи» — крохотные, треугольные и совершенно безвкусные. Все это — из области самых ранних моих воспоминаний. Не знаю, когда именно эти вечера превратились из довольно нудной условности в то, чем они, безусловно, были для отца в последние годы, — в колоссальную угрюмую шутку для одного. Если я находился в Англии, я был обязан присутствовать и привести с собой хотя бы одного приятеля. За исключением последних двух лет, когда отец, как я уже сказал, сделался модным художником, гостей собрать было трудно. «В моей молодости, — говорил отец, сардонически озирая общество, — в одном только Сент-Джонс-Вуде происходило не меньше двадцати таких приемов. Люди искусства разъезжали с трех часов дня до шести, от

Кемпден-Хилла до Хэмпстеда. Теперь же, я уверен, наше маленькое собрание — последний пережиток этой гнилой традиции».

По такому случаю все написанные им за год картины — кроме произведений для Благовоя и Богли — бывали расставлены по студии на мольбертах красного дерева; самой главной отводилась отдельная стена — и фон из красного репса. На последнем вечере, год назад, я присутствовал. Там были и Лайонел Стерн с леди Метроланд, и еще десяток модных знатоков. Сперва отец с опаской отнесся к новым покупателям, подозревая их в наглom покушении на его приватную шутку и раскрытии блефа с кексом и салатными сэндвичами; однако их заказы успокоили его. До такого расточительства юмор у людей не простирается. Миссис Алджернон Харч заплатила 500 гиней за его главную картину года — произведение из современной жизни, глубокое по замыслу и исполненное с дотошным мастерством. Отец очень заботился о названиях своих картин, и, повозившись с такими, как «Кумир публики», «Отрезанный ломоть», «Омраченная премьера», «Вечер их торжества», «Победа и поражение», «Без приглашения», «Среди прочих», он в конце концов назвал ее довольно загадочно: «Забытая реплика». Картина изображала уборную ведущей актрисы после успешной премьеры. Актриса сидит за туалетным столиком, спиной к обществу, и лицо ее, на миг расслабившееся от усталости, видно в зеркале. Ее покровитель с самодовольством собственника наполняет бокалы собравшихся тут же поклонников. На заднем плане у приоткрытой двери костюмерша переговаривается с пожилой четой провинциального вида; по их одежде понятно, что они смотрели спектакль с дешевых мест, и позади них стоит швейцар, все еще

сомневаясь, правильно ли он сделал, что выпустил их. Он неправильно сделал: они — ее престарелые родители и явились весьма некстати. Миссис Харч была в восторге от своего приобретения.

Мне так и не довелось узнать, как отнесся бы отец к этой моде на него. Писать он мог в какой угодно манере; возможно, он занялся бы невнятным мусором завтраков на траве, которым были покрыты стены Мансард-галери в начале двадцатых годов. А возможно, нашел бы, что популярность не так противна, как он думал, и согласился бы на богатую и обласканную старость. Он умер, не закончив свою картину 1939 года. Я застал ее в начальной стадии во время последнего визита к нему; она должна была называться «Опять?» и изображала одорукого ветерана Первой мировой войны, задумавшегося над германским шлемом. Отец снабдил солдата седоватой бородой и упивался ею. Я видел его тогда в последний раз.

Я уже четыре или пять лет не жил в Сент-Джонс-Вуде. Это не значит, что я в какой-то определенный момент «ушел из дому». Официально дом оставался моим местом жительства. Была спальня, считавшаяся моей; я держал там несколько сундуков с одеждой и полку с книгами. Постоянного жилья я себе не заводил, но за последние пять лет жизни моего отца едва ли переночевал десять раз под его крышей. Не потому, что мы отошли друг от друга. Мне было приятно с ним, а ему как будто со мной, но я ни разу не приезжал в Лондон больше чем на неделю или две и чувствовал, что как редкий гость обременяю и выбиваю из колеи его домочадцев. И они, и сам он слишком со мной носились, а к тому же он любил, чтобы в его планах на ближайшее время была ясность. «Мой дорогой мальчик, — говорил он в вечер моего при-